

Скажете, де, пьяному море по колено... Э-э-э, братцы мои, — тут всё от натуры, куда поведёт она, за нею и сам Господь следом. Спаситель-то наш не дурак, когда внушал своим апостолам: «Не говорю не пей, но говорю — не упивайся. Ибо вино — это кровь Христова». Вот и вразумляй! Хотя и Сам-то был непрочь приложиться к сикеру, и апостолов угащивал, когда на рыбных-то ловах приустанут за день, измозгнут на ветру, и лица от палящего солнца и ветра забукосеют, превратятся в коросту, а глаза приослепнут, затвердеют, как волдыри.

Николай неторопливо стаскал всё в груд; тут был портрет Нонны Мордюковой без головы, одна уступистая грудь; и царь Николай Романов с выколотыми глазами и дыркой во лбу; словно бы кто сделал русскому императору контрольный выстрел; и отец Александр с порванной щекой и без уха; и замурзанное сажей усталое лицо Льва Гумилёва; и угрюмо-задумчивый образ Вадима Кожинова с разбитыми очками,

орошенное кровью; от математика Игоря Шафаревича остались только руки и розовая рубашка... Много тут было русских людей, и все они, от Михаила Лобанова до полковника Солуянова, героя афганской войны, укладывались в общее погребение национальной славы без домовинок и поминок, без прощальных речей и почестей, которое скоро уйдёт из памяти, если поклончивые люди не переймут память на себя. Хотя они, слава Богу, ещё живы и не помышляют о смерти...

А в это время автор пантеона Горыня Алмазов изгонял из себя отчаяние в психлечебнице им. Ганнушкина на Белой Горе.

Куча росла, и последние приметы человеческих черт, написанных художником, прощально, тускло просвечивали из жуткого развала, будто утопленники, погружаясь в тухлую воду. Для русского племени это были рыцари без страха и упрёка, толпы людей сбегались в залы, чтобы только глянуть в эти русские лица, помеченные Божьим перстом, выслушать их мысли, а для тех чужебесов, кто, высунувшись в форточку, дышал ядами с запада, они оставались «быдлом», варварами, краснокоричневыми, фашистами, низкой чернью, «нерукопожатными». С какой неопикуемой радостью «амфисбены» упивались известием о пожаре в мастерской Алмазова, передавая по своей тайной почте только для своих, чтобы не прознали эти «мужиковствующие» и не разнесли печальный слух; укоренившись в народные толпы, несчастный художник неотвратимо превратился бы в героя. А если не вспоминать в газетах и на публике, то сотрется из людской памяти огромный труд живописца, как и не было его. И снова чужебесу праздник, можно выпить за успех так удачно исполненного тайного приговора.

...Осталось лишь вычерпать воду. Надо спуститься к Зиночке за ведром, — подумал Николай, безразлично обегая взглядом мастерскую, вернее то, что осталось от богатства и быллого великолепия. Огонь пожирает всё, оставляя по себе скорбь, убитые мечты, отравленное будущее и нищету. Это и называется — Господь посетил? Нет бы какого-нибудь алчного «фармазона» раздел до трусов, того самого бездушного барыгу, что позарился на убогую каменную кладовую без окон. Только и достоинства, что метровые стены можно превратить в камеру пыток; сколько ни вопи, — не услышат. Конечно, деньги всё сделают, были бы шальные бабки; пробьют потолок, выставят окна, с улицы вместо лестницы — стеклянный лифт. Главное — былой барский дом в самом центре города, на устройство никакой «капусты» не жалко. Несчастный Горыня, бедная Зиночка, подбили негодяи под самые коленки у края пропасти, ищи нынче державы, хоть бы крохотный кустышек чертополоха под руку, чтобы удержаться над обрывом...

Вода пузырилась, разбегалась кругами от стены до стены, словно под пеленою саж и плесени суетились любимые Горыней тритончики. Они шуршали, скреблись суставчатыми лапками о лежачие плиты пола и даже пели какую-то монотонную песенку, вроде: «Чижик-пыжик, где ты был...» Им, пакостникам, наверное, нравится сживать добрых людей со свету, гнать из родных стен куда-нибудь подальше; они проникают сквозь стены, им нет препятствий, чертям поганым, если не покоришься, во сне могут занырнуть и в ноздри, и в уши, пролезть в мозг и вырыть уютную норку. Николай тупо стоял посреди пожарища, чего-то выжидая, будто был дан с небес сигнал по духоводу: дескать, жди, Коля, вестей.

Вдруг вспомнился дурацкий анекдот «про норку», — ржачка для рыночного «пролетариата». Вроде бы, юморист Задорнов рассказывал по телевизору; тоже надо парню как-то «бабки» делать из воздуха, вот и плетёт со сцены, пританцовывая и ухмыляясь, глядя с презрением в багровые от смеха рожи и широко раззяв-

ленные пасти, полные золота (нет, это раньше были золотые коронки, сейчас фарфор и пластмасса). «Один мужик говорит другому: жена просила норку к Новому году. Второй день копаю, не знаю, понравится — нет?»

...Тут бойся, чтобы крыша не поехала набекрень; сползет — не выправить, строительного материала не хватит. Надо Горыне бежать из «Ганнушкина» на белый свет, ловить случай; только работа подымет. За горями надо ждать радостей, главное — не прозевать, схватить птицу за перо. Ещё до пожара приезжала госпожа Луиза Бляхман из Гамбурга, посетила мастерскую, субтильная рыженькая востроносая бабёнка, ела строганину из нельмы, запивала водкой из морозилки, много смеялась и болтала, уверяла, что в Европе нынче так вкусно не едят, как в России, и так замечательно не пишут картин, как Алмазов. Его там с руками оторвут за большие деньги... Но почему-то глазки строила Николаю, повторяла: Николая, вы кого-то мне очень напоминаете; большой, жирно покрашенный рот расплзался до ушей, так и зазывал к себе. Странная тётка... А куда её тащить, вы сеновала, ни полатей, — на заброшенный чердак что ли, где сквозь стропильник глядится небо?

Портрет русского императора с выколотыми глазами и дыркой во лбу притягивал взгляд. Царь Николай Второй стоит у окна, вполоборота, с опаской дожидаясь встречи с неверными, которой не избежать. Сейчас придут за отречением; уже не могут ждать, припекло чертей; уже копыта стучат. Несчастливая государыня, бедные дети... Душа плачет, отнимает всякую дерзость, мужество и отвагу. Всю ночь молился, стоял на коленях, просил совета у Господа; Он сказал: откажись, не по сеньке шапка... Отсюда и нерешительность, шаткость во всей фигуре, в окне багровый закат, внизу чугунная недвижная река. Наверное, до него уже донесли вести о близкой беде. Иначе откуда бы взяться признанию: «Всюду трусость, предательство и обман». А вдруг?.. А вдруг пронесёт, само собою рассосется, и полы под ногами не так шатки, как кажутся, и стулцы под империей ещё держат, не подгнили. Эх, кабы так... Нашелся бы решительный человек, который посыльных от бесов ухватил бы под локотки, подвел к стенке штабного вагона и, не колеблясь, расстрелял бунтовщиков. И никто бы не спохватился, не кинулся искать. Ехали, мол, но сгнули в дороге. Мало ли людишек пропало на перепутьях мировой войны, а тут двое безумных, возомнивших себя слугами Господа. Только перепутали они Бога с дьяволом, очаровались сатаной до утраты всякого здравомыслия, потеряли балабоны, остатки ума в говорильнях в Думе и отправились императора сбрасывать с трона. Ишь ли, захотелось править народом, гнать православных берёзовым дубьём самым диким путём, о котором и сами не ведают...

Всего лишь две пули надобны, чтобы вернуть реку истории в своё русло, где текла она веками. Хотя, особенно прозорливые уже слышали катастрофу, но ждали её неизбежность с двойным чувством; де, что обещано небесами, то неизбежно сбудется, судьбу и на самом лихом коне не обогнуть; но с другой стороны живёт в уме вера, что их, прозорливцев, каким-то образом минует сия суровая чаша, обойдет стороною. В Бога уже худо верили, дали Ему отставку, но часто поминали Его порою без нужды, и казалось, что Он и без просьб, без покаянных молитв непременно встанет заградительной стеною на пути зла, что темной тучею надвигалось на Россию, — и спасёт царя. Но, увы, судьба всероссийского Отца родимого уже была тайно вырешена за океанами, но мало кто знал на Руси о мерзкой кощуне, затеянной придворными «амфисбенами» и ростовщиками. Мировые «каменщики» утвердили приговор, накидали на бумагу сургучных печатей, чтобы выгляде-

ло всё законно, и дело стало лишь за палачами, которых торопливо отыскивали на задворках Европы английские менялы. Даже во Дворце за царя перестали молиться, так нестерпимо захотелось от него избавиться и получить долгожданную волю, и денежную мзду; и пастыри скоро, опоённые ядовитым зельем неверия, отшатнулись от своего помазанника, перестали поминать на молитве, перекрыли голос церкви.

...И вот курки уже взведены, и ружья изготовлены к убиению царской семьи; нужна лишь решительная натура, готовая в последнюю минуту отвести ствол. Где они, куда попрятались эти жертвенные молитвенники, готовые свою жизнь положить за русского царя? В каких чащобах заблудились «черносотенные фаланги» под имперскими стягами? Какое-то окаянное непробудное «очарование» вдруг накатило на Русь, и многие, скоро упав духом, приготовились испить смертную круговую чашу. Ещё не начиналось сражение, а они уже возлегли на одр, скрестив на груди руки. В рай заспешили, в рай... А другие бросились бежать стремглав за бугор. А что император?.. Николай своей рукою всыпал в братину отравы унынья и самолично обнёс питьём своих граждан и охранителей; дескать, место святой Руси на небесах. Добровольно устелил подножье погребального костра миллионами своих искренних, и по их безымянным костям вступил в жертвенный огонь...

...Горыня писал портрет Николая Второго, когда всё так благополучно складывалось для его семьи, и ниоткуда не сулилось беды. В тот вечер Коля Янин был с большого «бодуна», по воле живописца три часа торчал возле кирпичной стены, тарачил глаза на алые щербины осыпавшейся штукатурки, воображая тёмную ночь, похожую на могильную плиту, и недвижную чугунную воду, в которой отражалось кровавое зарево близкого пожара. Чувство тревоги и боли за отечество должно было жить в глазах Царя (так велел художник). Но Коля был с крутого похмелья, ничего в глазах не отразилось, кроме усталости, недоумения, тоски и безмолвного вопля: «Братцы-ы, а меня-то за что?» А Горыня лишь покрикивал: «Царь, стой, где поставлен!» и багровел от возбуждения щекастым лицом.

Коля поднял портрет в тяжелой багетовой раме, поднёс к лицу, и будто приник к зеркалу, в туманной глубине которого отразился он сам, Николай Янин, только не в гвардейском мундире, а в каких-то затерханных шабаленках, которым место в собачьей конуре, и у того царя, что полуобернулся к Янину из другого мира, были пулевая дырка во лбу и выколотые ножом глаза. На недвижной чугунной реке в углу холста Янин разглядел вроде бы случайные невнятные слова: «Мене, текел, перес».

Горыня ли нацарапал пророчество иудеев в пьяном уме, иль чужая умышленная рука вдруг напомнила о себе, прежде чем сжечь мастерские? Что-то подобное было написано на стене Ипатьевского дома после казни гнезда Романова, когда отправили в «господеви покой» батьку с маткой и всё гнездо.

Дальше размышления не сдвинулись; ноги в резиновых сапожонках заочене-ли и затекли. Коля заколебался вдруг, вынес картину из мастерской на божий свет, ещё не зная, зачем; верхнюю площадку винтовой железной лестницы покачивало, а раму с портретом подбивало снизу ветром, и выхудавшего Царя так и норовило скинуть на землю. Николай невольно уцепился за ржавое перильце, чтобы не улечь вниз, на груды щебня и арматуры, густо обросшую крапивой и чертополошиной, на останки старинного дубового буфета с резными колонками и рифлеными стёклами, от которого мало что осталось, любимой полосатой кушетки Горыни, и всякого старинного избяного приклада, горшков, самоваров и братин, притащенных хозяином из северных деревень и совсем недавно украшавших мастерскую.

Поверх, как бы стыдливо прикрывая разор, по-прежнему лежал двухметровый портрет поэта Кузнецова с обугленными на макушке вздыбленными волосами, от частых летних дождей вдруг порыжевший, взявшийся плесенью, с потёками сажи на гордовато вздёрнутом лице. Поэт укоризненно глядывался в небо, откуда было ниспослано лихо, а Коле казалось, что знаменитая «столичная штучка» приглашает к себе «за кумпанию». Дескать, дружочек, иди ко мне; три секунды полёта, и будем в одной связке; дескать, дружно — не грузно, а врозь — хоть брось. Картину парусило, и Коля поставил её на ребро, припер коленом. И тут увидел с исподу просунутый меж холстиной и багетом тщательно увязанный сверточек, надёжно упрятанный от чужого глаза. Коля потянул за край обёртки, размотал капроновую нитку, и вдруг обнаружился зелёный, плотно скрученный рулончик «американской зелени»; все, кто «ботают по фене», от Чубайса и Гусинского до Ельцина с челядью, называют эти чужие деньги валютой, «капустой», — и чинно, и мирно. С казённых бумажек на Колю воззрилось бесстрастное, но высокомерное масонское рыло, чем-то напоминающее лицо знаменитого московского поэта. Оба что-то явно скрывали, чего не стоило бы знать малым мира сего; «меньше знаешь — крепче спишь».

Братцы мои, это же клад! Настоящий клад в тысячу баксов; десять бумажек по сто... У Коли и глаза разбежались. Он дважды пересчитал находку, чтобы не ошибиться, но у него в голове даже и мысли не мелькнуло, что стоит зажилить хоть бы одну бумажку, а после при случае вернуть должок. Можно купить еды, мешок сахару, чайник, банку кофию... Много чего можно прикупить человеку, у которого в хозяйстве ничего нет. Зато у Горыни двое детей, жена без работы, и сам пасётся в «психушке».

Ну, Алмазов как в воду глядел, рассовывая деньги по щелям. Всё погорело вместе с тараканами, но запасец за картиной уцелел, как подарок от Государя. Начитался Горыня, наверное, Гоголя, Николай Васильевич и помог. Но там чёрт баловал, играл на слабой душе, как на валторне, позывал на пагубу, гнул и коверкал, испытывал на прочность, пока не обломал. Зыбок натурою оказался тот художник и продал дьяволу свои мечтания вместе с душою за плотские утехы. Де, на кой мне сдалась эта душа, от которой ни навара, ни привара, но одни лишь страсти-мордасти. Нет, он не сразу, конечно, подпал во власть, слегка поупирался, на пробу, смалодушничав, лишь сунул ноготок, дескать, выправлю жизнь, встану на ноги — и прощай, лукавый бес. Э, братец, не морочь нам голову, — бес-то ему, — хочешь сладко кушать и хмельно жить — послужи. И уцепил хват за ноготок мизинца, и тут художнику пришли концы. Вон пасть-то у дьявола какая огро-мад-ная, туда кит полностью влезет вместе с потрохами и стадо индийских боевых слонов.

Коля сунул «ладонку» на прежнее место, повернул портрет Государя к себе лицом. Вспомнив повесть Гоголя, Янин невольно устыдился, словно бы в уме и взаболъ испытал мучительные колебания; он даже покраснел и повлажневшую ладонь вытер о полу пиджака. Ему казалось, что от денег на пальцах осталась невидимая липкая плесень.

— Да Боже ты мой! — воззвал Николай к своей душе. — Да, подумал, как на грех, подумал! Ну и что, мало ли, братцы, какие подлые бредни лезут в голову... Хоть миллион дай, не покусился бы я, даже в мыслях, и на самый крохотный взток от находки.

Он торопливо спустился к Алмазовым и, отчего-то пряча глаза, передал Зиночке находку. Зиночка пересчитала на несколько раз, казня себя за мелкую душу,

каждый раз недоверчиво взглядывая на Царя; пальцы её мелко тряслись. Женщине казалось, что сейчас её хватит удар.

— Ты что, мне не веришь? — скрипуче спросил Николай.

— Коленька, милый, да ты что... Как ты можешь такое говорить? — Зиночка подскочила, встрепала и без того всклокоченную голову Николая, зашептала на ухо. — Ты нас спас, Коля... От смерти спас... Тебя нам Господь послал.

Зина отслоила от рулончика три казначейских билета с масонским треугольником, стала совать в руку Царю. Тот отбояривался, не хотел брать, завязалась дурашливая борьба, когда каждый хотел поступить по совести, но так, чтобы случайно не обидеть другого, но и не догадывался, как завершить в простоте, чтобы помощь не выглядела милостынькой. Наверное, жалко было Зине делить клад, отрывать копейку у детей, но горше того оказаться жестоковойной, немилосердной; уйдет бедный Коля в свою нищую избушку, пригорюнится, одинокий, у окна, невольно затаит внутри горечь, и уже никогда не будет возле Алмазовых прежней родной души. Неужели есть некая правда в народном присловье: «Если хочешь потерять друга, дай ему денег»?